Море исчезающих времен

Автор:
Габриэль Гарсиа Маркес

Море исчезающих времен

Габриэль Гарсиа Маркес

Библиотека классики (АСТ)

Все рассказы Габриэля Гарсиа Маркеса в одной книге!

Полное собрание малой прозы выдающегося мастера!

От ранних литературных опытов в сборнике «Глаза голубой собаки» – таких, как «Третье смирение», «Диалог с зеркалом» и «Тот, кто ворошит эти розы», – до шедевров магического реализма в сборниках «Похороны Великой Мамы», «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке» и поэтичных историй в «Двенадцати рассказах-странниках».

Маркес работал в самых разных литературных направлениях, однако именно рассказы в стиле магического реализма стали своеобразной визитной карточкой писателя. Среди них – «Море исчезающих времен», «Последнее плавание корабля-призрака», «Постоянство смерти и любовь» – истинные жемчужины творческого наследия великого прозаика.

Габриэль Гарсиа Маркес

Море исчезающих времен

Gabriel Garc?a Marquez

Collected Short Stories

(4 Collections: Ojos de perro azul, Los funerales de la Mama Grande, La incre?ble y triste historia de la candida Erendira y de su abuela desalmada, Doce cuentos peregrinos)

© Gabriel Garc?a Marquez, 1947, 1962, 1972, 1974, 1992

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Глаза голубой собаки

Третье смирение[1 - © Перевод. А. Борисова, 2022.]

Там снова послышался этот шум. Звуки были резкие, отрывистые, надоедливые, уже узнаваемые; но сейчас они вызывали острое, мучительное ощущение, – видимо, за эти дни он от них отвык.

Они гулко отдавались в голове – глухие, болезненные. Казалось, череп у него заполняется сотами. Они вырастали, закручиваясь восходящими спиралями, и ударяли его изнутри, заставляя вибрировать верхушки позвонков в нервном, неустойчивом ритме, в каком вибрировало и все тело. Что-то разладилось в устройстве его крепкого человеческого организма – что-то действовавшее до того нормальным образом – и теперь стучало у него в голове сухими, жесткими

ударами молотка, чья-то рука, лишенная плоти, как у скелета, ударяла по черепу, и это заставляло его вспоминать самые горькие в жизни минуты. Подсознательным движением он сжал кулаки и поднес их к голубовато-фиолетовым артериям на висках, стараясь раздавить невыносимую боль. Ему хотелось взять в руки и ощутить ладонями этот шум, который дырявил его сознание острием алмазной иглы. Мускулы его напряглись, словно у кота, стоило ему только представить себе, как он преследует его, этот шум, в самых чувствительных участках воспаленного мозга, попавшего в лапы лихорадки. Вот он уже настиг его. Нет. Шкура у этого шума скользкая, почти неосязаемая. Но он все-таки доберется до него благодаря хорошо продуманным приемам и будет долго, до самого конца, сжимать его изо всех сил своего отчаяния. Он не позволит ему больше проникать в его слух; пусть он выйдет у него изо рта, через каждую пору кожи, из глаз, которые вылезут из орбит и ослепнут, следя за тем, как шум этот выходит из глубин охваченного лихорадкой мрака. Он не позволит, чтобы тот выдавливал из него осколки кристалликов, сверкающие снежинки на внутренних стенках черепа. Вот какой это был шум: нескончаемый, и такой, будто ребенка ударяли головой о каменную стену. Когда резко ударяют чем-нибудь о твердую поверхность природных образований. Шум перестанет его мучить, если окружить его, изолировать. Отреза?ть и отреза?ть по куску от его собственной тени. И схватить. Сжать его, теперь уже наверняка; изо всех сил швырнуть на пол и яростно топтать до тех пор, пока он уже действительно не сможет пошевелиться; и тогда скажет, задыхаясь, что он убил шум, который мучил его, который сводил с ума и который теперь валяется на полу, как самая обычная вещь, – превратившись в остывшего покойника.

Но ему было никак не сжать виски. Руки стали короткими, словно у карлика, – маленькие, толстые, жирные руки. Он попробовал встряхнуть головой. Встряхнул. Шум в голове возник с новой силой, он становился все более жестким, усиливался и тяжелел от собственной силы. Он был жесткий и тяжелый. Такой жесткий и такой тяжелый, что, когда настигнешь его и уничтожишь, будет казаться, что оборвал лепестки свинцового цветка.

Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда – перед тем как увидеть труп – понял: этот труп – его собственный. Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неощутимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будто пропитался цементом, а внутри этой густоты – там, где предметы оставались такими же, будто это все еще был обычный воздух, – внутри был он, заботливо упрятанный в гроб из твердого, но

прозрачного цемента. В тот раз в голове у него и возник этот самый шум. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног; там, на другом конце гроба, лежала подушка, потому что ящик был великоват для него и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване, смертельно красивым.

Он лежал в гробу, готовый к погребению, и, однако, знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда. По крайней мере мысленно. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от смерти, которой, в сущности, и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери:

– Сеньора, ваш ребенок тяжело болен – все равно что мертв. Однако, – продолжал он, – мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Благодаря комплексной системе самонасыщения мы добьемся продолжения органических функций. Изменятся только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту, – расти он будет обычным порядком, это просто-напросто смерть заживо. Подлинная, действительная смерть…

Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки.

Когда он утопал в бреду. Когда читал истории о набальзамированных фараонах. Когда поднималась температура, он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач никогда и не говорил об этой странной смерти заживо. Ведь это алогично, парадоксально, это просто противоречит само себе. И это заставляет его подозревать, что он на самом деле умер. Вот уже восемнадцать лет, как это произошло.

Тогда – ему было семь лет, когда он умер, – его мать заказала для него маленький гроб из свежеспиленной древесины, гроб для ребенка, но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшение. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб,

как для умершего подростка, и положила в ногах три подушки, чтобы гроб был впору.

Вскоре он начал расти внутри ящика, да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. Восемнадцать лет. (Теперь ему было двадцать пять.) Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал от отца, – это бороду «лопатой». Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни.

Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем этот шум! Это были крысы. Особенно когда он был ребенком, ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ногах. Они обгладывали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут глодать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть: пять крыс, скользких и блестящих, забрались в гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не оттого, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими тварями. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырявить сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз, и целиком отдался обморочной неизбежности.

Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было двадцать пять, и это означало, что больше он расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими. Но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым.

Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и

в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она отметкой на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного! Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать и о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок перестал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее действительно мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет.

И он знал, что теперь действительно умер. Знал по мирному спокойствию, в котором пребывал его организм. Все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции – земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. Именно так. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти.

В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли, одно за другим, воспоминания. Там, на жесткой подушке, покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот – это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять достойную позу. Мускулы и сочленения уже не слушались его, не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как восемнадцать лет назад, – нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба, руки, которые ему уже никогда не будут повиноваться. Живот был твердым, как ореховая скорлупа. Затем ноги – прямые, правильной формы, по которым можно изучать анатомию человека. Покоясь в гробу, его тело становилось тяжелее, но все происходило тихо, без

какого-либо беспокойства, как будто мир вокруг замер и никто не нарушает этой тишины; будто легкие земли перестали дышать, чтобы не тревожить невесомый покой воздуха. Он чувствовал себя счастливым, как ребенок, который лежит на прохладной упругой траве и смотрит на плывущие в вечернем небе облака. Он был счастлив, хотя знал, что умер, что навсегда упокоился в деревянном ящике, обитом искусственным шелком. Ум его был необыкновенно ясен. Это было не так, как после первой смерти, когда он чувствовал, что отупел и ничего не воспринимает. Четыре свечи, поставленные вокруг него и обновлявшиеся каждые три месяца, почти истаяли, как раз когда они были так нужны! Он почувствовал близкую свежесть влажных фиалок, которые его мать принесла утром. Он чувствовал, как свежесть исходит и от белых лилий, и от роз. Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства, – напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством. Может быть, ему станет страшно потом?

Кто знает. Жестоко было думать о той минуте, когда молоток вобьет гвозди в свежую древесину и гроб заскрипит в крепнущей надежде снова стать деревом. Его тело, теперь увлекаемое высшей силой земли, опустится на влажное дно, глинистое и мягкое, и там, наверху, заглушаемые четырьмя кубометрами земли, затихнут последние удары погребения. Нет. Ему и тогда не будет страшно. Это будет продолжением его смерти, самым естественным продолжением его нового состояния.

Его тело уже не сохраняло ни одного градуса тепла, мозг застыл, и снежинки проникли даже в костный мозг. Как просто оказалось привыкнуть к новой жизни, жизни мертвеца! Однажды – несмотря ни на что – он почувствует, как развалится на части его прочный каркас; и когда он захочет ощутить каждое из своих сочленений, у него уже ничего не получится. Он поймет, что у него больше нет определенной, точной формы, и сумеет смириться с тем, что потерял свое совершенное анатомическое устройство двадцатипятилетнего человека и превратился в бесформенную горсть праха, без всяких геометрических очертаний.

В библейский прах смерти. Может быть, тогда его охватит легкая тоска – тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, который надкусит его осенним утром. Он узнает тогда – и от этого ему сделается

грустно, – что утратил гармоническое единство и теперь не является даже самым обыкновенным покойником, мертвецом, как все прочие мертвецы.

Последнюю ночь он провел счастливо, в обществе собственного трупа.

Но с наступлением нового дня, когда первые лучи нежаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло: от него пахло. За ночь мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело любого покойника. Запах, несомненно, был – запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жары, в прошлую ночь. Да. Он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы, и с порога ее окутает запах гниющей плоти. И тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов.

Вдруг страх толкнул его в спину. Страх! Какое глубокое, какое значащее слово! Теперь он был охвачен страхом, физическим, подлинным. Что это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся: наверное, он не умер. Они поместили его сюда, в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом: мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный; а призрак страха открыл ему окно в действительность: его похоронят живым!

Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит, он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим его запахом. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду. Как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело.

Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме запаха. Но как он узнал, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть его запахом.

Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым. Потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это

внушало ему ужас – самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать. Ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб. Почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии.

Бесполезно будет пытаться подняться, взывать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, пытаясь дать им знать, что он еще жив и что они идут хоронить его заживо. Это будет бесполезно: его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы.

Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном? Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть, даже неприятно, от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась, там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильна пробудить.

Но нет. Это не было сном. Он был уверен: если бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснется. Он чувствовал податливость шелка в гробу и запах, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников, прежде чем он начнет разлагаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба врассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем этим как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что действительно умер или, может быть, жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае запах слышался все настойчивее.

Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот запах. Быть может, – кто знает?! – неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.

Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер.

Другая сторона смерти[2 - © Перевод. А. Борисова, 2022.]

Неизвестно почему – он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаясь как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то время он лежал неподвижно, стараясь унять нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине, пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да нет, ничего особенного не было, никакого повода для такого состояния.

Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, обвешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться), – в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого недавно похоронили, и знаками показывал ему – однажды такое было в реальной жизни, – чтобы он остановил поезд. Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в нем не было ничего, что могло бы вызвать такое беспокойство. Он снова прикрыл глаза – в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал скучную, унылую, бесплодную местность, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел – не следует надевать тесные ботинки – опухоль на среднем пальце. Самым

естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку – ведь сон был цветной, верно? – и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне никого нет, только в одном из купе едет его брат, переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ножницами вытащить свой левый глаз.

Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление, ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувствовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, прервавшийся несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым стрекотанием. Нервное напряжение начало ослабевать понемногу, но ощутимо, и он почувствовал, как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благостную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присущем ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало в своей сложной архитектуре всю сумму систем тела и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно опустились на радужную оболочку – так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он – человек – перестал быть смертным и обрел другую судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становилось все тише, пока совсем не смолкло; как время и расстояние входят внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.

Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешествий, в призрачный идеальный мир – мир, будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.

Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил, что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил на кровати и почувствовал: брат-близнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.

Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, долетавший из мира цветов в саду, – все это вместе вернуло его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и – сейчас я отдаю себе в этом отчет – в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон без мыслей, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный, – образ, существующий отдельно от всего, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. Некая мысль – так, что он почти не заметил этого, – овладела им, заполнила, охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех остальных мыслей; она составляла опору и главный позвонок мысленной драмы его дней и ночей. Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас, когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель, сейчас он боялся его.

Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он видел, как тот корчится под простынями, словно раненый пес, и стонет, и этот задавленный последний крик заполняет его пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по его спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как тот бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед ним, во власти которой находилось его тело, с непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел его в последние минуты ужасной агонии. Когда он обломал ногти о стену, раздирая последнюю

крупицу жизни, что уходила у него между пальцев и обагрилась его кровью, а в это время гангрена сжирала его плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как он откинулся на смятую постель, даже не успев устать, покрытый испариной и смирившийся, и его губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую улыбку, и смерть потекла по его телу, будто поток пепла.

Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее круглой – теперь у него было то же самое ощущение, – разбухающей внутри, будто маленькое солнце, невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от философского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль, какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться, перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как слепая, – он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту, в поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке – как у брата, который только что умер, – будет опухоль. Запах из сада стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался трупным. Запах леденящий и неотвязный – так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? Единственный способ остановить разложение. Если вены человека заполнить формалином, мы станем заспиртованными анатомическими образчиками.

Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, – будто холод из патио

проник до самых костей. Влажность. Там очень влажно. С горечью он подумал о зимних ночах, когда дождь будет заливать траву, и влажность примостится под боком его брата, и вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти – последней и невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным, вытеснившим все остальные временем года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный шум за окном его раздражал. Ему хотелось, чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели – влажность уже проникла в костный мозг – лежит человек, уже совсем не похожий на него.

Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были просто братьями-близнецами, живущими как два отдельных человека. В духовном смысле у них не было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекли половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх, – от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который родился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как недостает этого в его обычной, видимой глазу целостности: «Потом вышел Иаков, держась за пяту Исава».

Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было не похоже на

его собственное.

Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал брадобрея «привести тело в порядок». Сам он был тут же и стоял, вжавшись в стену, когда пришел человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы… Ловким движением мастер покрыл мыльной пеной бороду покойника – рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью: медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла эта жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты брата-близнеца, он все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему; это – нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, – это просто репетиция его собственной… У него было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение множество раз, когда брился, – каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале, невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к зеркалу, то не увидит там ничего, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии, пытаясь овладеть собой, он ощупал пальцами прочную стену дома, которую ощутил как застывший поток. Брадобрей закончил работу и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри его, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без устали повторяющие друг друга.

И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой, то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в пространстве – не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что, когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.

Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодушевленности. Острый запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергался его брат, проникает, как послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на

голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, – своей энергией, своими живыми клетками! И тогда – если так – его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?

Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей, и ему показалось, что какая-то голубая жидкость покрыла все его тело целиком. Он почувствовал – один за другим – все запахи своего тела, однако только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала – и не удивился, потому что знал – старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю прохладной, бескрайней, как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких идиотских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю комнату через час или через тысячу лет и растворит это бренное сооружение, эту никому не нужную субстанцию, которая, возможно, – почему бы и нет? – превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой – только его собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.

Ева внутри своей кошки[3 - © Перевод. А. Борисова, 2022.]

Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть без сил – кто знает куда, – в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть

в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, – вот что такое был этот кусок плодоносной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота. Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспомнила беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу – без устали, на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.

Она вспомнила нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками. Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое и боль утихла. Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше бы

родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.

Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратимо принять ее как наследственный признак красоты, – одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть – такой острой и мучительной она стала!.. И в самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.

Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих детских воспоминаниях.

Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестностью. Каждый раз ее мысль, бродя по темным закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла – нет, никогда не могла – выкинуть из головы этот страх. Горло ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И всё для того, чтобы жить в огромном старом доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.

Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль прилетала оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о малыше. Представляла себе, как он, покойный, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во рту.

Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход наверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной, и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она не могла представить себе, что плоть его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко от дома. Ей было страшно… Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова – после того, как ему удастся разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, малыш всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, окоченелого, в глине, и дождевые черви теперь пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз, неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о малыше, который зовет ее из земли и просит, чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.

Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в предрассветный сумрак и что предметы, мебель, тринадцать любимых книг – все остается на своих местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как это могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь – ночь перехода в этот мир – было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри нее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь прошел мимо дома по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова

завертится вокруг Солнца. Но все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся и будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей краской, запах был такой густой и навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. «Время… о, время!..» – вздохнула она, вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал малыш, и плач его доносился из другого мира.

Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоить таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь как паук, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны, парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с силами и не смогла. Страх поглотил ее целиком и только возрастал, неотступный, напряженный, почти ощутимый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин, просто страх.

Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая прилипала к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей вдруг показалось – из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой и… Но о чем она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала такого желания. Неожиданный терпкий привкус лишал ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с того дня, как похоронила малыша. Глупость, но она не могла прежде побороть отвращения и съесть апельсин. Она знала: малыш добирается весной до цветов на дереве и плоды осенью будут напитаны его плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью из кальция своих костей. Однако

сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что малыш был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо дойти до кладовой. Но… не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она улыбнулась – да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать счастливой от сознания, что ты обыкновенная женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой, – весело, как обновленная женщина, которая только что родилась. Обязательно пойти в патио и…

Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она – уже не она. Она стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, что? происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстрактное, воображаемое. Она чувствовала себя бестелесной женщиной – как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.

Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет малыш. Она боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только – все произошло так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят, что кровать пуста, замки целы и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут строить предположения – разумеется, зловещие – об ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое; и дело кончится тем, что мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.

А она будет в комнате. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду – из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей

неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рассказать и никого не сможет утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь – единственный раз, когда все это ей нужно, – у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем одинока и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней, по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть другой материальный мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.

Секунды не прошло – в соответствии с нашими представлениями о времени, – как она совершила этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли она к ней, в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом, непроницаемом мраке: она – в преддверии рая? Она вздрогнула. Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно, еще более невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от материального мира, обреченные на сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, малыш здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою телесную оболочку.

Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из материального мира в мир более легкий, более удобный, где стираются все измерения.

Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так просто, она может быть счастлива. Хотя… не вполне, потому что сейчас ее самое большое желание – съесть апельсин – стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыталась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность своего мира: она

была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине малыша. Она заполняла весь материальный мир и мир потусторонний. И в то же время ее не было нигде. Она снова встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти скучала по своей красоте – красоте, которую по глупости не ценила.

Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебрала в памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все – по глупости. Уж лучше было бы еще несколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.

Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В не изведанном ею пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно – стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она – кошка, и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и непроизвольно помахивая хвостом. Каким видится мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза малыша, который лежит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет.

Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на нёбе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она, поймав мышь, держит ее в зубах. Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.

Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест апельсин. К тому же она станет необычным существом – кошкой, обладающей разумом красивой женщины. Она будет привлекать всеобщее внимание… И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.

Подобно насекомому, которое шевелит усиками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час та, должно быть, дремлет на каминной полке и мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там кошки не было. Она снова поискала ее, но вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те прежние темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как обычно, портреты своих предков, были только флаконы с мышьяком. И потом она постоянно находила мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она вспомнила об апельсиновом дереве в патио. Отправилась на поиски, предполагая найти его около малыша, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и малыша тоже не было – только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.

Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть апельсин.

Огорчение для троих сомнамбул[4 - © Перевод. А. Борисова, 2022.]

И вот она теперь там, покинутая, в дальнем углу дома. Кто-то сказал нам – еще до того, как мы принесли ее вещи: одежду, еще хранящую лесной дух, почти невесомую обувь для плохой погоды, – что она не сможет привыкнуть к неторопливой жизни, без вкуса и запаха, где самое привлекательное – это жесткое, будто из камня и извести, одиночество, которое постоянно давит ей на плечи. Кто-то сказал нам – и мы вспомнили об этом, когда прошло уже много времени, – что когда-то у нее тоже было детство. Возможно, тогда мы просто не поверили сказанному. Но сейчас, видя, как она сидит в углу, глядя удивленными глазами и приложив палец к губам, пожалуй, поняли, что у нее и вправду когда-то было детство, что она знала недолговечную прохладу дождя и что в солнечные дни от нее, как это ни странно, падала тень.

Во все это – и во многое другое – мы поверили в тот вечер, когда поняли, что, несмотря на ее пугающую слитность с низшим миром, она полностью очеловечена. Мы поняли это, когда она, будто у нее внутри разбилось что-то стеклянное, начала издавать тревожные крики; она звала нас, каждого по имени, звала сквозь слезы, пока мы все не сели рядом с ней; мы стали петь и хлопать в ладоши, как будто этот шум мог склеить разбитое стекло. Только тогда мы и поверили, что у нее когда-то было детство. Получается, что благодаря ее крикам нам что-то открылось; вспомнилось дерево и глубокая река, когда она поднялась и, немного наклонившись вперед, не закрывая лицо передником, не высморкавшись, все еще со слезами, сказала нам:

– Я никогда больше не буду улыбаться.

Мы молча, все трое, вышли в патио, может быть, потому, что нас одолевали одни и те же мысли. Может, мысли о том, что не стоит зажигать свет в доме. Ей хотелось побыть одной – быть может, посидеть в темном углу, последний раз заплетая косу, – кажется, это было единственным, что уцелело в ней из прежней жизни, после того как она стала зверем.

В патио, окруженные тучами насекомых, мы сели, чтобы подумать о ней. Мы и раньше так делали. Мы, можно сказать, делали это каждый день на протяжении всех наших жизней.

Однако та ночь отличалась от других: она сказала тогда, что никогда больше не будет улыбаться, и мы, так хорошо ее знавшие, поверили, что кошмарный сон станет явью. Мы сидели, образовав треугольник, представляя себе, что в его середине она – нечто абстрактное, неспособное даже слушать бесчисленное множество тикающих часов, отмеряющих четкий, до секунды, ритм, который обращал ее в тлен. «Если бы у нас достало смелости желать ей смерти», – подумали мы все одновременно. Но мы так любили ее безобразную и леденящую душу, подобную жалкому соединению наших скрытых недостатков.

Мы выросли давно, много лет тому назад. Она, однако, была еще старше нас. И этой ночью она могла сидеть вместе с нами, чувствуя ровный пульс звезд, в окружении крепких сыновей. Она была бы уважаемой сеньорой, если бы вышла замуж за добропорядочного буржуа или стала бы подругой достойного человека. Но она привыкла жить в одном измерении – подобная прямой линии, наверное, потому, что ее пороки и добродетели было невозможно увидеть в профиль. Мы узнали об этом уже несколько лет назад. Мы – однажды утром встав с постели – даже не удивились, когда увидели, что она совершенно неподвижно лежит в патио и грызет землю. Она тогда улыбнулась и посмотрела на нас; она выпала из окна второго этажа на жесткую глину патио и осталась лежать, несгибаемая и твердая, уткнувшись лицом в грязь. Позже мы поняли: единственное, что осталось неизменным, – это страх перед расстоянием, естественный ужас перед пустотой. Мы подняли ее, придерживая за плечи. Она была не одеревенелая, как нам показалось вначале. Наоборот, все в ней было мягким, податливым, будто у еще не остывшего покойника.

Когда мы повернули ее лицом к солнцу – словно поставили перед зеркалом, – глаза ее были широко открыты, рот выпачкан землей, погребальный привкус которой, должно быть, был ей известен. Она оглядела нас потухшим, бесполым взглядом, от которого создалось ощущение – я держал ее на руках, – что ее будто нет. Кто-то сказал нам, что она умерла; но осталась ее холодная, спокойная улыбка – она всегда так улыбалась, когда по ночам бродила без сна по дому. Она сказала, что не понимает, как добралась до патио. Сказала, что ей стало жарко, что она услышала назойливое, пронзительное стрекотание сверчка, который, как ей казалось – так она сказала, – хочет разрушить стену ее комнаты, и что, прижавшись щекой к цементному полу, она вспомнила все воскресные молитвы.

Однако мы знали, что она не могла вспомнить ни одной молитвы, поскольку мы уже знали, что она давно потеряла представление о времени, и тут она сказала,

что уснула, поддерживая стену комнаты изнутри, тогда как сверчок толкал ее снаружи, и что она глубоко спала, когда кто-то, взяв ее за плечи, отодвинул стену и повернул ее лицом к солнцу.

В ту ночь, сидя в патио, мы поняли, что она уже не будет улыбаться. Может быть, нам заранее стало горько от ее равнодушной серьезности, ее своевольной и необъяснимой привычки жить в углу. Нам стало горько, как в тот день, когда мы впервые увидели, что она сидит в углу, вот как сейчас; и мы услышали, как она говорит, что не будет больше бродить по дому. Сначала мы не поверили ей. Мы столько месяцев подряд видели, как она ходит по комнатам в любое время суток, держа голову прямо и опустив плечи, не останавливаясь и никогда не уставая. По ночам мы слышали неясный шорох ее шагов, когда она проходила меж двух мраков, и случалось, не раз, лежа в кроватях, просыпались, слушая ее таинственную поступь, и мысленно следили за ней по всему дому. Однажды она сказала, что когда-то видела сверчка внутри круглого зеркала, погруженного, утопленного в его твердую прозрачность, и что она проникла внутрь зеркальной поверхности, чтобы достать его. Мы не поняли, что она хотела этим сказать, но смогли убедиться, что одежда на ней мокрая и прилипает к телу, будто она только что купалась в пруду. Не найдя объяснения этому, мы решили покончить с насекомыми в доме: уничтожить причину мучившего ее наваждения.

Мы вымыли стены, велели подрезать кустарник в патио, и получилось так, будто мы счистили грязь с тишины ночи. Но мы уже не слышали, как она ходит, как говорит о сверчках, – до того дня, когда, поев в последний раз, она оглядела всех нас, села, не отрывая от нас взгляда, на цементный пол и сказала нам: «Я буду сидеть здесь»; и мы содрогнулись, потому что увидели, как она становится чем-то, что очень сильно похоже на смерть.

С тех пор прошло много времени, и мы уже привыкли видеть ее сидящей там, на полу, с наполовину расплетенной косой, будто она расплетала ее, уйдя в свое одиночество, и там затерялась, несмотря на то что была нам видна. И потому мы поняли, что она больше никогда не будет улыбаться; она сказала это так же уверенно и убежденно, как когда-то – что она уже не будет ходить. У нас появилась уверенность, что пройдет немного времени и она скажет нам: «Я больше не буду видеть» или: «Я больше не буду слышать», и мы поймем тогда, что в ней достаточно человеческого, чтобы по собственной воле погасить свою жизнь, и что одновременно органы чувств отказывают ей, один за другим, и так будет до того дня, когда мы найдем ее прислонившейся к стене, будто она заснула впервые в жизни; может быть, это произойдет еще не скоро, но мы трое,

сидя в патио, хотели в ту ночь услышать ее пронзительный и неумолчный плач, похожий на звон бьющегося стекла, чтобы хоть тешить себя иллюзией, что в доме родился ребенок (он или она). Нам хотелось верить, что она родилась еще раз.

Диалог с зеркалом[5 - © Перевод. А. Борисова, 2022.]

Жил некогда человек, который, проспав несколько часов сном праведника, забывшего о заботах и тревогах недавнего рассвета, проснулся, когда солнце было уже высоко и городской шум наполнял – всю целиком – комнату, дверь в которую была приоткрыта. Опять ему на ум пришла – таково было состояние его духа – неотвязная мысль о смерти, о всеобъемлющем страхе, о том комке глины, частью которого стал его брат и которая, должно быть, уже забила ему рот. Однако веселое солнце, освещавшее сад, переключило его внимание на жизнь более обычную, более земную и, может быть, менее реальную, чем его пугающая внутренняя жизнь. Это был обычный человек, заезженная рабочая скотина, который волей-неволей знал – не говоря уже о том, что у него расшатанная нервная система и увеличенная печень, – ему никогда не спать сном добропорядочного буржуа. Он вспомнил о финансовых головоломках, которыми занимался на работе, – в них, в этой числовой путанице, было что-то от старой доброй математики.

Двенадцать минут девятого. Наверняка опоздаю. Он провел по щеке кончиками пальцев. Шершавая кожа, покрытая однодневной щетиной, показалась ему на ощупь жесткой. Потом ладонью, с отсутствующим видом, тщательно ощупал лицо – спокойно и уверенно, как хирург, знающий, где расположена опухоль, – убедился, что, если немного нажать на эластичную поверхность, можно обнаружить твердую субстанцию некой истины, которая порой тревожила его. Там, под пальцами, – и еще глубже, там, где кости, – крепкое анатомическое строение хранило неизменный порядок всех его составляющих, вселенную переплетенных тканей, маленьких миров, которые поддерживали снизу доверху каркас из мяса, менее постоянный, чем естественное и окончательное расположение костей.

Да. Уйдя с головой в мягкую подушку, удобно устроив тело так, чтобы отдыхали все его органы, он ощущал, что у жизни горизонтальный привкус и что эта

позиция – самая удобная для его принципов. Он знал: стоит смежить веки – долгая, утомительная работа, поджидавшая его, станет казаться чем-то простым, не зависящим от времени и пространства; совсем необязательно, выполняя эту работу, причинять хоть малейшее неудобство тому соединению химических элементов, которым является его тело. Напротив, если вот так смежить веки, будет происходить огромная экономия жизненных ресурсов, будет полностью исключен органический износ. Его тело, погруженное в глубину снов, могло бы двигаться, жить, развиваться в другие формы существования материи, которыми располагает реальный мир, потому что этого хочет его внутренний мир, яркий мир его эмоций, – более того, развиваться в такие формы существования, благодаря которым потребность жить была бы полностью удовлетворена без всякого ущерба для физической оболочки. И тогда куда более легкой была бы задача сосуществования с людьми и предметами, причем жить можно так же, как в реальном мире. Такие действия, как бритье, поездка в автобусе, математические уравнения на работе, во сне осуществляются просто и легко и оставляют по себе чувство внутреннего удовлетворения.

Да. Лучше было проделать это своеобразно – так, как он делал раньше: надо найти в освещенной комнате зеркало. Он уже было взялся за дело, но в этот момент грузовая машина, тяжелая и нелепая, разрушила хрупкую субстанцию охватившего его сна. Когда он снова вернулся в мир условностей, все показалось ему более сложным. Однако необычная теория, так его разнежившая, сузила границы понимания, и из глубин существа он почувствовал, как его рот сдвигается куда-то в сторону, и это означает непроизвольную улыбку. Но хотя и с отвращением, он в глубине души продолжал улыбаться. «Надо побриться, я должен быть во всеоружии через двадцать минут». Умыться – восемь, если бриться быстро – пять, завтрак – семь. Противные лежалые сосиски. Магазин Мабель – приправы, выпечка, лекарственные препараты, ликеры; это похоже на чей-то ящик, я знаю чей, – забыл слово. (Автобус по вторникам ломается и опаздывает на семь минут.) Пендора. Нет, Пельдора. Не так. Всего полчаса. Времени нет. Забыл, как называется ящик, где есть все на свете. Педора. Начинается на «п».

Стоя в ванной комнате в халате, заспанный, растрепанный и небритый, он бросил недовольный взгляд в зеркало. Слегка вздрогнул, поняв, как похоже то, что он увидел в зеркале, на его умершего брата, когда тот вставал по утрам. То же усталое лицо, тот же взгляд еще не проснувшегося человека.

Он изменил выражение лица, чтобы на отражение в зеркале стало приятно смотреть, однако зеркало вернуло ему – вопреки желанию – насмешливую мину. Вода. Горячая струя хлынула булькающим потоком, и облако густого белого пара поднялось между ним и зеркалом. И тут, заполнив образовавшийся перерыв быстрыми движениями, удается привести к согласию внутреннее время и время внешнее – подвижное, словно ртуть.

Из облака выступили острые края холодной, как мороженое, металлической пряжки ремня для бритья; когда облако рассеялось, зеркало показало ему другое лицо – лицо, затуманенное физическим удовольствием и математическими законами, следуя которым геометрия по-новому определяла объем и конкретную форму света. Там, напротив себя, он видел лицо, биение пульса, удары собственного сердца этого другого «я», он видел его меняющееся выражение – серьезность, приветливую и насмешливую одновременно, выглядывающую из влажного стекла, которое еще удерживало в себе пар.

Он улыбнулся. (Он улыбнулся.) Он показал – самому себе – язык. (Он показал – тому, кто на самом деле, – язык.) У того, в зеркале, язык был разбухший, с желтым налетом. «У тебя неважно с желудком», – поставил он диагноз (молча – просто показал жестом) и сделал гримасу. Снова улыбнулся. (Снова улыбнулся.) Но теперь он заметил нечто глупое, искусственное и фальшивое в улыбке, которую ему вернули. Он пригладил волосы (он пригладил волосы) правой (левой) рукой, чтобы тут же вернуть обратно виноватый взгляд (и исчезнуть). Его самого удивляло, что он стоит перед зеркалом и гримасничает, как придурок. Однако он подумал, что все перед зеркалом ведут себя именно так, и от этого возмутился еще более, поскольку тогда получалось, что весь мир состоит из придурков и он только вносит свою лепту в самое обычное придурочное дело. Восемь семнадцать.

Он знал, надо поторопиться, если он не хочет распрощаться с агентством. С агентством, которое с некоторых пор превратилось для него в место отправки на собственные ежедневные похороны.

Мыльная пена, взбитая кисточкой, превратилась в мягкую голубоватую белизну – и это вернуло ему все его тревоги. На какой-то момент мыльная жижа растеклась по лицу, заполнила паутинку артерий и облегчила работу всех жизненных механизмов… Так что, вернувшись к привычным мыслям, он решил: в намыленных мозгах скорее найдет слово, с которым хотел сравнить магазин Мабель. Пелдора. Барахло Мабель. Палдора. Приправы или аптекарские товары.

Или и то и другое: Пендора.

Пены в мыльнице было уже вполне достаточно. Однако он продолжал как одержимый взбивать ее кисточкой. От созерцания мыльных пузырей он развеселился, как большой ребенок, – такое же надрывное веселье, через силу, бывает, когда пьешь дешевый ликер. Еще одно усилие в поисках нужных звуков – и слово вспыхнуло, созревшее и яростное; выплыло на поверхность густой мутной воды из его неподатливой памяти. Но и на этот раз, как раньше, разрозненные и разобщенные куски единого целого не соединялись столь точно, чтобы достичь органического единства, и он уже был готов навсегда отказаться от этого слова: Пендора!

Пора было бросить эти бесполезные поиски – оба подняли глаза, и взгляды их встретились, – его брат-близнец мягкими и точными движениями левой руки, в которой он держал намыленную кисточку, начал покрывать подбородок и щеки бело-голубой прохладной пеной – он делал то же самое правой. Он отвел глаза, и геометрическое расположение часовых стрелок предложило ему решение еще одной беспокоящей его теоремы: восемь восемнадцать. Всему виной его медлительность. С твердым намерением кончить бриться как можно скорее он, оттопырив мизинец, крепко взялся за бритву.

Прикинув, что побреется за три минуты, он поднял правую (левую) руку на высоту правого (левого) уха – отметил мимоходом, что нет ничего более трудного, чем бриться так, как это делает человек в зеркале. Он произвел серию сложнейших подсчетов, намереваясь вычислить скорость света, который, чтобы воспроизвести каждое его движение, почти мгновенно проделывает путь туда и обратно. Но эстет, живший в нем – несмотря на борьбу приблизительно равных сил, что продолжалась во времени, равном квадратному корню скорости, которую он пробовал узнать, – победил математика, и мысль человека от искусства двинулась навстречу наблюдениям над лезвием, которое окрашивалось в зеленый, голубой или белый цвет в зависимости от светового луча. Быстро – оставив в покое и математика, и эстета – он провел лезвием по правой (левой) щеке до меридиана губ и с удовлетворением отметил, что левая щека изображения, окаймленная хлопьями пены, видится чисто выбритой.

Он еще не успел стряхнуть пену с лезвия, как из кухни донесся острый запах жаркого. Под языком у него защипало, и он почувствовал, как рот наполняется легкой тонкой слюной с сильным привкусом растопленного масла. Жареные почки. Наконец-то от него отцепился приставший было магазин Мабель.

Пендора. Тоже нет. Бульканье почек в соусе донеслось до его слуха, и тут же вспомнилась барабанная дробь дождя, совсем недавно, на рассвете, – так похоже по звуку. А потому надо не забыть надеть боты и плащ. Почки под соусом. В этом никакого сомнения.

Из всех его органов чувств ни один не вызывал такого сильного недоверия, как обоняние. Но над всеми пятью чувствами, в том числе и над вкусовыми ощущениями, которые радовали только слизистую оболочку рта, в тот момент главенствовала необходимость как можно скорее закончить бритье. Это и было самой насущной необходимостью всех органов чувств. Точными и легкими движениями – математик и эстет, оба показали друг другу зубы – он повел лезвие от себя (к себе) назад (вперед), до левого (правого) уголка губ, и в это же время левой (правой) рукой поглаживал кожу, смягчая прикосновение металлического лезвия, от себя (к себе) назад (вперед) и сверху (сверху) вниз, заканчивая – оба при этом уже задыхались – одновременную для обоих работу.

И вот, уже закончив, похлопывая себя по левой щеке правой рукой, он вдруг увидел в зеркале собственный локоть. Локоть показался ему странно большим, неузнаваемым, а выше, вздрогнув, он увидел чужие глаза, тоже большие и тоже неузнаваемые, вытаращенные глаза, искавшие бритву. Кто-то пытался убить его брата. Могучей рукой. Кровь! Так всегда бывает, когда торопишься.

Он ощупал лицо пальцами – искал порез; однако пальцы не оказались запачканными кровью: искать порез дальше смысла не было. Он испугался. На его лице порезов не было, но там, в зеркале, у двойника кровь на лице была. Омерзительное чувство тревоги, что появилось нынешней ночью, в глубине его сознания становилось реальностью. Сейчас, перед зеркалом, у него снова появилось ощущение раздвоения личности. Он посмотрел на подбородок (круглый; лица их были одинаковы, неотличимы одно от другого). Эта щетина около ямки на щеке – ее нужно сбрить. Ему показалось, что торопливый жест его изображения, пожалуй, был несколько судорожным. Разве может быть, даже учитывая быстроту, с которой он побрился, – математик полностью овладел ситуацией, – что скорость света не успевает зафиксировать каждое его движение? Мог он, торопясь, опередить изображение в зеркале и побриться раньше его? А может быть – и тут человек от искусства, после короткой борьбы, вытеснил математика, – изображение живет собственной жизнью, оно решило – чтобы жить в своем времени – закончить работу позже, чем это сделает человек во внешнем мире?

Охваченный беспокойством, он открыл горячую воду и почувствовал, как поднимается теплый густой пар, а когда стал умываться, в ушах у него зазвучало какое-то горловое бульканье. Прикосновение к коже свежевыстиранного, слегка шершавого полотенца вызвало у него глубокий вздох удовлетворения, словно у вымывшегося животного. Пандора! Вот это слово: Пандора.

Он с удивлением посмотрел на полотенце и в тревоге закрыл глаза, а между тем человек в зеркале рассматривал его большими удивленными глазами, и на щеке его была видна багровая царапина.

Он открыл глаза и улыбнулся (улыбнулся). Все это было уже не важно. Магазин Мабель – это ящик Пандоры.

Теплый аромат почек под соусом достиг его обоняния, на этот раз запах был очень настойчивым. И ему стало хорошо – он почувствовал, как в душе у него воцаряется благостный покой: злая собака тайников его души завиляла хвостом.

Глаза голубой собаки[6 - © Перевод. Е. Маркова, 2017.]

Она все смотрела на меня, а я пытался вспомнить, где и когда мог видеть ее. В неровном свете керосиновой лампы ее глаза блеснули чуть испуганно, и я осознал, что каждую ночь мне снятся эта комната и эта лампа, и этот мерцающий взгляд. Да-да, я узнал ее, ту, из сновидения, на границе яви и сна.

Я нащупал сигареты, затянулся, выпустил горький дым, закрутившийся в кольца, откинулся на спинку стула, балансирующего подо мной на двух ножках. Молчали. Я – покачиваясь на стуле, она – приблизив тонкие бледные пальцы к стеклу керосиновой лампы. Пламя бросало блики на подкрашенные веки. Молчание нарушил мой голос:

– Глаза голубой собаки.

И она отозвалась грустно:

– Да. Теперь нам этого не забыть.

Она шагнула из мерцающего круга лампы и повторила:

– Глаза голубой собаки. Я пишу это всегда.

Она повернулась и отошла к туалетному столику. В лунном овале зеркала появилось ее лицо – отражение, его оптический двойник, готовый раствориться в неверном свете лампы. Она перевела на свое отражение взгляд серых глаз цвета остывшей золы, открыла перламутровую пудреницу и коснулась пуховкой носа и лба.

– Я так боюсь, – сказала она, – что эта комната приснится кому-нибудь другому и он все здесь перепутает.

Она щелкнула кнопкой пудреницы и, вернувшись к лампе, спросила:

– Тебе не бывает холодно?

– Иногда бывает, – ответил я.

Она раздвинула озябшие пальцы над лампой, тень веером легла на ее лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

© Перевод. А. Борисова, 2022.

2

© Перевод. А. Борисова, 2022.

3

© Перевод. А. Борисова, 2022.

4

© Перевод. А. Борисова, 2022.

5

© Перевод. А. Борисова, 2022.

6

© Перевод. Е. Маркова, 2017.

Купить: https://tellnovel.com/ru/markes_gabriel-garsia/more-ischezayuschih-vremen

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить